



## Л. М. АРМАНД

### Керенский

Лев ранен... Он ранен клеветой и демагогией. И кто только не пытается теперь лягнуть его? Те, кто до сих пор действовали из-за угла, кто тончайшей игрой подготавливали себе почву, сочли своевременным выступить ныне открыто.

Что у хищников хорошее чутье; ему можно довериться: и, правда, не настало ли их время?

<...>

Еще в начале февраля он прямо, полными словами, поставил перед Думой вопрос об организации восстания против царизма. Председатель лишил его слова и под злобные крики большинства исключил на несколько заседаний. Власти решили его арестовать.

Не успели. Быстро и бурно развертывались события. Какое счастье для демократии, что в февральские дни 1917 года в Государственной думе был революционер Керенский, который «властной рукой заставил растерявшееся думское большинство стать в центре народного восстания»...

Сколько сбереглось народной крови, как решительно и прямо пошла революция, как быстро из обломков старого стал вырисовываться новый строй...

Первый доклад очевидца о петроградских событиях Московскому комитету общественных организаций начинался словами: «Не было бы этой радостной, легкой победы, если бы не было Керенского».

С тех пор началось его торжественное, жертвенное восхождение со ступеньки на ступеньку... Куда? На Олимп? На Голгофу?

Разве это не совпадает в величайшие моменты истории...

Вначале нужно было принять решение, много более трудное, чем при вступлении в Думу: о вступлении в министерство. Всесильный

тогда Петроградский Совет рабочих депутатов сказал: «нет». Керенский оглянулся на хорошо знакомых ему думцев, которым вручались безраздельно судьбы народа; взгляделся в будущее, сулившее разлив страстей классовых, национальных и личных, заглянул в свою совесть и сказал: «да».

Были наивные люди, которые уговаривали его после этого не являться в Совет рабочих депутатов. Чтобы Керенский хоронился от тех, ради которых он жил...

Он пошел туда немедленно. Его встретили зловещим молчанием, а проводили раскатами восторга, вынесли его на руках.

С тех пор это повторялось не раз. Так было, когда он приезжал в большевистские полки, наперед ненавидевшие того, кто требовал от них отдачи жизни.

Почти так было, когда он явился на съезд своей партии, как всякий русский съезд, полный головными сомнениями и мало податливый на голос жизни.

Так было, когда он перед Государственным совещанием<sup>1</sup> пришел с отчетом во Всероссийский Совет рабочих и солдатских депутатов, недовольный (и справедливо недовольный) составом предстоящего совещания.

Так было на самом совещании, где его осторожно встретили представители демократии, с болезненной подозрительностью настроенные теми, кому это было нужно.

И каждый раз что-то исходящее от него растопляло тот лед, что снова и снова ковали враждебные стихии. Каждый раз в непосредственном его присутствии у людей рождалась несомненная уверенность, что преданность родине и революции у этого человека беспредельна, что и в этой преданности рождаются и самые его ошибки.

А ошибок у Керенского много... Как не быть ошибкам у того, кто знает одно правило поведения: занимать самое трудное место, трудное и внешне, и внутренне?

В то время стояли на очереди две задачи: покрепче захлопнуть дверь за старым и пошире открыть ворота новому. Это дело и взял на себя Керенский как министр юстиции.

Счастливая была полоса. Он мог оставаться самим собою. Он творил радостное дело веры в человека: отменил смертную казнь, послал поезда за политическими, выпустил уголовных.

Министерство юстиции сделало за это время больше, чем некоторые другие министерства за все время.

Он кипел в работе, он появлялся всюду, где нужно было уладить, успокоить, умиротворить. Бледный, радостно-напряженный,

он часто изнемогал от утомления и страстного волнения, и не раз его речь заканчивалась обмороком. Он горел огнем, который светит.

Но усилия авангарда не могли остановить быстрого процесса распада. Через два месяца Керенский уже горько жалел, что не умер в первые светлые дни.

В революции обнаружилась страшная брешь, развал армии.

Горьким упреком, страстным призывом он пробудил беспокойство в товарищах, он убедил их войти в правительство и, ободренный и укрепленный, кинулся собой заслонять роковую брешь. Он стал военным министром.

Неблагодарная задача... Пока другие решали мировую трагедию отточенными, скользкими формулами войны «поскольку, постольку», он должен был это «постольку» проводить в жизнь.

Он вступил в царство смерти, которое имеет свою непреклонную логику, которое не допускает половинчатости. Он взял на себя во имя свободы величайшую ответственность и знал, что критики в белых перчатках догматики не пожелают разделить с ним это бремя, когда из их собственных формул, прикоснувшихся к жизни, брызнут подлинные слезы, кровь и желчь.

Керенский переменился. Он стал на фронте суровым и бронзовым. Как он звал, как грозил, умолял, приказывал, как заразой чувства и примером он вел человеческие сердца... Появляясь почти везде разом, он горел. И то был огонь, который жжет.

Все оказалось тщетным. В революцию летели сзади, из родного стана копьё за копьём. Он не успевал перехватывать их на лету.

Разразился новый кризис власти. Опасность грозила самому сердцу революции. На груди ее зияла открытая рана.

И свои, и чужие сговорились на том, чтобы заткнуть эту рану Керенским. И на призыв революции он ответил, по обыкновению: «Есть». Он стал министром-председателем.

Может ли быть пост более тяжелый для социалиста? Он перестает быть стороной. Он обязан оторваться от товарищей, стать над ними и над их недругами. Стороны спорят, критикуют, запрашивают. А он пристально вглядывается, взвешивает, предусматривает. Стараясь предугадать равнодействующую, он должен вести среднюю линию, за которую его не могут не ненавидеть с обеих сторон.

Он должен найти людей на безлюдье. Он должен вдохнуть энергию в непривычных. Он должен связывать то, что другие рвут. Он должен стать глухим для личных обид или симпатий.

Смешно вспомнить, что находились непринужденные языки, которые умудрились к этому человеку применять слово «безответственность». Никогда еще на социалиста не давила такая гора ответственности. Керенский постарел, весь ушел внутрь. Под железной корой чувствовалось горение огня, который кует.

Тяжелы были его удары на Государственном совещании. Когда он бросал в Каледина<sup>2</sup> словами: «Пусть никто не смеет думать, что может предъявлять нам ультиматумы в вопросах смерти»... И еще: «Какие бы и кто мне ультиматумы ни предъявлял, я сумею подчинить его воле верховной власти, и мне, верховному главе ее» и потом долгую минуту, повернувшись к Каледину, смотрел на него с глаз в глаза, как на поединке, где скрещиваются шпаги, — жуткий холод пробегал по собранию.

Его торжественная власть от имени народа вызывала на Совещании действительное ощущение величия народовластия.

К его воле тянулись. Когда он на час покинул заседание, как переменялся, как развинтился зал, и как заходили волны страсти, как испугались мы сами себя. Он пришел. Молча, сел. Все стихло, сковалось обручами сдержанности. И многие тогда подумали: «А что, если мы его потеряем?»

Всякий видел, какое большое чувство освещает эту суровую властность. «Я хотел бы найти нечеловеческие слова, чтобы передать вам весь ужас, весь трепет, который нас охватывает, когда мы видим все, что надвигается».

Какая волна любви донесла до нас эти страстные слова... И какая сила гремела в его предостережении: «Вы готовите торжество тех, кого вы мало ненавидели и потому так легко забыли!»

Перед концом совещания дрогнул Керенский-правитель. Измучил ли его, вдобавок ко всему пережитому, инцидент Ногаева и Сахарова<sup>3</sup>, после которого Сахаров чуть не застрелился в его присутствии...

Но только на минуту вырвался из-под железной коры прежний Керенский и перед всеми, имеющими очи, чтобы видеть, обнажилась трагедия прирожденного социалиста, обреченного на власть.

Он говорил с болью, такой нестерпимой, что некоторые выбежали из зала, он почти кричал, ударяя рукой по столу: «Вы этого, хотите? Хорошо! Я перестану быть мечтателем. Я вырву из сердца веру в человека. Я сам растопчу свои цветы. Пусть будет, что будет!»

Несколько голосов крикнули умоляюще: «Не надо!» А какой-то старик, когда через несколько минут закрылось совещание, среди всеобщего движения подбежал к нему и поцеловал ему руку.

В этот момент демократическая часть совещания не только верила Керенскому-министру. Она любила Керенского-человека.

Правду сказал он позднее на другом демократическом совещании, что многие и многие из тех, что его знают и делают вид, что не верят ему, только притворяются не верящими, сознательно обманывая других.

После Государственного совещания у него отлегло от сердца. Казалось, что удалось оковать два разорванных конца революции и скрепить этим железным поясом распадающуюся Россию.

Не долго длилась и эта последняя мечта. Чувство доверия скоро выветривается у головных людей нашего лагеря. Да и стыдным им кажется отставать в дешевой теперь критической «смелости» от товарищей, не выварившихся в общегосударственном котле совещания.

Кадеты же ушли. Оттуда с ненавистью к властному Керенскому и со злорадной снисходительностью к Керенскому-человеку.

И по-прежнему стали растить в себе обе стороны недоверие, нетерпение, раздражение ко всем остальным группам и преступную снисходительность к своей.

Пала Рига<sup>4</sup>.

Керенский боролся с отчаянием. Он сгорал, испепелялся в собственном огне.

Потом заговор Корнилова. Керенский принимает быстрые меры, решительные и осторожные, чуждые паники и кровожадности. Дальше новое восхождение к вершине Тарнейской скалы<sup>5</sup>. По требованию органов революционной демократии Керенский — верховный главнокомандующий и глава Директории<sup>6</sup>.

Это значит, что он — предлог для неизбежных демагогических воплей о диктатуре.

Это значит, что именно ему в последнем счете приходилось решать в этот момент, что страшнее: отбросить буржуазию, вызвав бойкот промышленности и управления или привлечь на голову правительства грозу стихийного озлобления разжигаемых масс.

Это значит, что именно ему заявляли иностранные дипломаты: «Или Алексеев, или разрыв со всеми его последствиями».

И право, митинговым ораторам эти вопросы решать много легче, чем человеку, стоящему в проклятый час у руля государства.

Их немного оказалось на собранном вслед за тем Демократическом совещании<sup>7</sup>, этих безнадежно-митинговых, отлучивших себя от нового общего порыва к нему, к нему, который пришел сюда уже не суровым правителем, а товарищем, с потрясающим волнением,

предостерегающим от новых ошибок, негодующим на недоверие и открывающим свою душу... «Ибо ноша моя нестерпима»...

Говорят, он во многом неправ... Это можно признать наперед. Он многого не знает, во многом ошибается, он бывает слишком осторожен, а подчас и слишком решителен. Ему недостает инстинкта самосохранения, который оберегает других от опасностей чрезмерного мужества.

Как не быть большим ошибкам у большого человека, который со страстью отчаяния влюблен в обреченную родину и который бесконечно одинок?

Страшно подумать, до чего одинок этот человек, ожесточенный редкой славой, — особенно теперь, когда стихийная волна оторвала от него столичные советы.

За ним гонялись с револьвером в кармане немецкие шпионы и русские провокаторы. Кадетские лидеры объявили, что нельзя быть с ним в одном министерстве. Они ведут против него атаку ураганным огнем клеветы. С тыла нападают их враги и пособники, большевики, давно сделавшие из Керенского размалеванное пугало и, стало быть, мишень для толпы политического младенца.

Но самый нестерпимый удар нанесла ему собственная партия. Он пришел на партийный съезд<sup>8</sup> со словами: «Как усталый путник припадает к ручью в пустыне, так я рвался сюда прикинуть к источнику партийной мысли и воли. Я счастлив, наконец, почувствовать себя ничтожным рядовым».

Его доклад, его ответы удовлетворили громадное большинство. Его проводили бурной, ликующей овацией.

Но не с добрым он ушел предчувствием: «У меня только одна печальная привилегия перед товарищами, — сказал он. — Я не могу остаться тут с вами, не услышу, что будут говорить. И не смогу ответить, если будут на меня нападки или непонимание». И, правда, несколько дней спутали все карты.

А сидеть неделю на съезде он считал себя не вправе. Да все равно... Ему ли распутывать тонкое плетение. Ему ли защищать себя лично... В этих вопросах он молчит до крайности. Спасибо, заступилась бабушка Брешковская. Не любит она кривды, даже во имя политических целей, и безошибочно чувствует, какая у человека сердцевина.

Хорошая, подлинная сердцевина у Александра Федоровича Керенского.

И вот, он ранен, лев российской революции. Он ранен клеветой и демагогией.

Что ж, в моменты, когда кружит и рвет ураган народной стихии, это оружие почти непобедимо.

Быть может, он уже на верхней ступени своей алой Голгофы...

Придет время, и толпа будет требовать памятников Керенскому. Она сложит про него легенды. Она будет петь о нем песни. Теперь она во власти «Первосвященников»... «Распни его!»

Вещее слово сказал он на Государственном совещании: «Среди всего этого ужаса что же дает вам силы продолжать свой труд? Сознание, что кроме суда современников есть еще суд истории».

Но как обеднеет и без того бедная Россия... Быть может, он еще опомнится, пожалеет себя...

Встреча Керенского с Демократическим совещанием, та открытая, восторженная, бурная встреча друзей, которые иногда ссорятся, страстно объясняются, но не могут друг без друга жить, эта встреча возрождает надежду на то, что она себя пожалеет...

*Лидия Арманд.*

*15 сентября 1917 г.*

